

## ПСАЛОМЩИК

Роман

*Посвящается моему погибшему другу юности — Михаилу Сергеевичу Евдокимову,  
воистину народному артисту России*

### Пролог

Чужие люди изорвали в клочья мой житейский букварь, а я выучился читать по нему себе на беду. Теперь мне кажется, что после московского мятежа девяносто третьего года прошли столетия.

Я лишь чудом остался жив на раздавленных баррикадах.

«Господи! — сказал я в ночь перед штурмом. — Если останусь живым, то буду служить Тебе всем, на что Ты дашь мне силы...».

Молиться я не умел, но, видно, кто-то из мертвых молился за меня.

После всего пережитого на баррикадах занятия литературой стали казаться чем-то вторичным, а наш брат писатель — докучливым болтуном. Мне стал омерзителен город с его пирами, на которых стоял густой запах трупобной помойки.

Как штиль, пришла опасная усталость. Мне казалось, что рассудок мой помрачен и прекратилась сокровенная музыка в душе.

Я слышал пустословие людей, которых еще вчера несчастный народ возносил, как знамя. То, что они делали, напоминало мне отточенную борьбу нанайских мальчиков. Они партийно-классово и аппаратно-кассово были всегда близки к властям и жили в другом пространстве с его временем. Над ними не капало.

Мне захотелось бежать из Москвы, как с чужбины, в долгое целительное молчание. Забыть сорные, утратившие смысл слова, перейти на церковно-славянский язык, который пока еще не знали и не уродовали все эти егеря-загонщики, охотники до чужого...

И я бежал, чтобы глаза не видели позора столицы, как позора матери. Запалился, хотел пить, но вода была мутной от золы и пепла чудовищного крематория, где заживо сгорала, корчилась и не хотела умирать моя изумительная планета Россия. Я стал пить водку — паленая водка едва не спалила рассудок. Я уже не жаждал: сначала реванша, позже — покоя. Пришло равнодушие.

Почти десять лет бежит моя тень за тенью родины. Искать ее — все равно что искать мой городок Китаевск на пачке «Беломорканала». Я обиделся на народ, на рабствующую Россию. В девяносто четвертом в Калуге едва не женился на хорошенькой немке по имени Петра, чтобы уехать туда, где можно немотствовать, пока не закопают в ямку. Но — хранил Господь! — на немке по имени Петра женился один мой благополучный приятель. Я потерял сон и съезился от болезненных сновидений. Лишь в разъездах по «территории» я отсыпался, потому что внушал себе надежду, что еду от тьмы к свету. Половину последнего года прошлого тысячелетия я жил у друга в заграничном уже Крыму. Спал, ел и ничего не хотел. Научился, не вставая с дивана, из «положения лежа», щелчком отправлять скомканную газетную четвертушку в мусорное ведро. А, когда отоспался и когда смутно захотел жить, то стал смотреть в телевизор.

Я увидел в нем крупнокалиберные пулеметы на зубцах старых стен Генуэзской крепости. И это курортный Судак? И это киммерийские мои холмы? Я смотрел, как с прутьями арматуры и бейсбольными битами идут мусульманские боевики прямо на объективы телекамер...

Люди говорят, что они берут русскую землю по всему Крымскому побережью. И прошлым летом отряды меджлиса прилежно атаковали Южный берег. Идет нашествие, захват жизненного пространства для мусульман.

«Из русских тут выживут только придурки-сталкеры... — сказал некий лысый жук-носорог в ходе беседы с дятлом-телеведущим, который дробненько, с пониманием смеялся. — Объясните мне: а что такое собственно русские — прилагательна или существительна?»

Я бы объяснил ему по зубам, но с этим ящиком Пандоры, связь, как известно, односторонняя. И они стали бойко объяснять мне, что русские — это нечто наднациональное. Меня охватила ярость. Да, нам, русским, не повезло. Выбор у нас невеселый и небогатый, но он есть. Я найду его. Так началось крымское оздоровление.

Снова не спалось до самого ветренного утра. Как бывалый оптимист, я ясно видел: будет хуже. Под утро прилетела в сад какая-то большая птица, била крыльями, перелетала с места на место. Едва забрезжило, я

распахнул окно и глянул в сад. Это была не птица, а зацепившийся за голый куст жасмина сорный полиэтиленовый пакет...

Корабль Крым уходил в Турцию — мне же нужно грести в обратную сторону. Я собрал дорожную сумку. Вечером того же дня сел в поезд и уехал из бывшей русской Украины в пустое холодное пространство квазигосударства.

В колесном перестуке пульсировало: кто ты тут — кто ты там... кто ты — куда ты... кто ты — куда ты...

Я поехал туда, где далеко от автобанов и шатких дворцов на кровавом песке миллионы двужильных мучеников погружались во тьму времен, как моряки обреченной подлодки. Туда, где суровыми зимами мерзли в ДОСах<sup>1</sup> и казармах отдаленных гарнизонов служивые. Голодные и холодные, они недужно отстукивали зубами SOS и ни на что уже не надеялись *«во тьме и сени смертной»*<sup>2</sup>. Беспризорные дети с рогатками, солдаты, которым не суждено стать воинами.

Кто я в этом новом и неудобном для миллионов русских lebensraum<sup>3</sup>?

## Часть первая

### ВОРЫ И ЛОХИ

#### 1

Рано утром, когда нищие еще не вышли в городок, я входил в него со стороны села Кронштадтский Сон. Было еще четыре дня до Покрова Пресвятой Богородицы, но уже ощутимо было дыхание зимы по ночам. Лимонная заря едва занялась и подсветила облака. Они, гонимые противным ветром, шли над пустынной степью, живо меняя очертания. Было неудобно и холодно в степи, но нельзя думать об этом в пути. Я шел и распевал акафист Смоленской Одигитрии.

Когда жив был мой отец, то он меня спрашивал:

— Чо волосы отрастил, как пасаломщик?

— А чо? — как эхо, отвечал я. — Все так ходят. Как в Ливерпуле!

— Ливер пуле нипочем, а вот вшивоту разведешь! Это похоже. Но это похуже пули в ливере! Пасаломщик!

Советский пионер, я и слыхом не слыхивал, что это за «пасаломщик» такой. Мнилось мне, краснопузому, что я роковой поэт, как, например, гусарский поручик Лермонтов. Нынче все в моей жизни совместилось. Аз есмь червь. Но червь образованный. Бывший исторический писатель, а ныне самый настоящий псаломщик, но с короткой стрижкой и бодрими армейскими усами.

Может быть, лучше ничего не помнить. Как бывшая супруга моя давняя, старобрачная, барочная, порочная, барачная еще Надежда Юрьевна, наверное, вспоминала меня только тогда, когда я протягивал ей деньги. С ее стороны это умно, потому что здраво. Ей неведома была горечь Эммерсона<sup>4</sup>, который измученно спрашивал некогда:

— Как объяснить моей жене, что когда писатель смотрит в окно, он тоже пишет?

Ей, бывшей моей жене, не давали спать химеры мелкобуржуазной dolce vita. Зараня, когда какой-нибудь неведомый дед еще не вышел на гумно молотить, она уже непременно будила меня:

— Ой, не знаю: рассказывать тебе сон — не рассказывать? Снится мне и снится море, купе поезда... Звезды...

Она научила меня вставать до зари. Когда ее сон повторялся три ночи кряду, я брал командировку, собирал сидорок и уезжал. Так уехал в Москву в девяносто первом году, когда начался большой революционный фарс, и там впервые увидел политических оборотней, чьей религией был Арбат. Недурно обустроились его приемные дети. Они позировали с автоматами в руках вблизи Арбата, не отходя далеко от пап и мам.

«Однажды вернусь на причал и увижу, — нередко думал я под ночной перестук колес, — что моя жена безраздельно вышла замуж, что ее украли взрослые вороватые дяди. И горько заплачу, весь изорванный в клочья молодым клякастым капитализмом...».

Так и случилось.

Я ушел бы в затвор после глубокого нырка в отчаяние, но духовник не благословил. Он сказал, что мой подвиг<sup>5</sup> еще не подошел к уходу от мира, и что грех хоронить в душе веселье. Бывало, хотелось домой по старости лет и инвалидности духа. А жена — замужем. Она сожгла мои дни, как сентиментальные школьные дневники, изукрашенные не всегда хорошими, но памятными отметками. Мне с моей профессией оставалось лишь протянуть ноги. Недавно я прочел в какой-то газете, что одному станкостроительному заводу, чтобы выжить, пришлось наладить производство гробов. Мертвые стали казаться мне «социально ближе», нежели еще живые. Они, уже мертвые, стали способны кормить еще живых. А люди так заторопились, что псаломщиков со священниками на все похороны не хватало. На Сибири негусто православных приходов.

Мы с моей новой женой Аней живем в деревенском доме ее родителей. Я помнил ее институткой, она меня — преподавателем. Помню и то, что не однажды просыпался, курил, пытаюсь разогнать сны, где эта красавица ускользала от меня в тот самый момент. Она писала простые стихи, но, читая их, я думал: откуда в ней это небесное знание? Потом замужество, развод. Говорили, что она передумала вздуть очаги культуры в деревнях степного Шалтая и поступила в Литературный институт. Через полтора почти десятка лет я встретил ее в деревенской церкви на Рождество Христово. Она рассказала, что выпустила в Москве две книги стихов и вот вернулась в свою деревню учительницей литературы. Случайно ли мы встретились через годы? Кто я теперь, когда непобедимая старость грозит мне в ночные окна? Любил ли я ее? Я удивлялся ей и был благодарен ей. Она вернула мне высокий смысл человеческой жизни в супружестве. Я понимал, что люблю ее, когда с ужасом оглядывался назад, на перепутье дорог, где мы могли бы никогда не встретиться. Я понимал, что любой иной путь, кроме этого, был бы губителен для моей души. Любовь эта не было страстной, она была дружественной. Не хочу уподобляться писателям и философам, рассуждавшим о любви, поскольку любовь для меня — это поступки, а не рассуждения об их природе. У нас родился сын — что с ним будет, когда я умру в этом концлагере? Родителям Ани едва ли нужно было понимать: что делает чужой взрослый человек в их доме, когда ничего не делает. Писатель. А кто будет навоз из стойки выносить да по огороду-кормильцу разбрасывать? И они, по сути, правы — не деревенский я житель.

До недавнего времени Аня учительствовала. Потом перестали платить жалованье, школы не стало. И тогда мне вспомнилась газетная заметка о гробовых дел заводе. Неплохо зная церковнославянский язык, я стал читать на похоронах Псалтирь и все присущие скорбному случаю молитвы. Если нет иерея, каждый мирянин может совершать все церковные службы за исключением таинств. А разрешительную молитву тоже может читать только священник. Вот мы со стареньким отцом Глебом в поте лица добываем свой хлеб. Я просто шабашу с благословения отца Глеба. Принимать хиротонию прежде, чем душа почувствует этот непреодолимый зов Божий, опасно для нее. Это все равно что надеть свинцовый пояс и прыгнуть с облака в море. Чтецом в собор не возьмут, если бы даже я этого и хотел. В соборе своя братия. Туда берет сам отец-настоятель или отец-наместник, причем берет того, кого лично знает. Идти в наш маленький храм? Но там, как и в прочих приходах, чтецу очень мало платят. Вот я гастролирую, прости меня Господи, дело привычное. Я — и чтец-причетник, и псаломщик, и пономарь, и сам себе регент хора, и певчий.

Отец Глеб нынче — священник заштатный, а кончал семинарию сразу после войны и почему-то в Варшаве. Он часто хворает. Приходилось мне и одному нести крест похоронного чтеца.

— Это, паря, пока ты чтец... — говаривал он. — Ты придешь к священству. Вот сейчас ты чтец, потом станешь иподьяконом, потом, даст Бог, и рукоположат тебя. А чтец ты благоговейный, Петя. Слово ты не читаешь, ты его чтишь! Пастырское слово нести, Петя, не каждому из нас, грешных, дано.

— Ой, батюшка, не искушайте нас без нужды! Только меня-то там, среди иереев, и не хватает. Помните, мы с Аней, с отцом Христодулом ездили на сорок дней в вдове священника Полухина? Там еще мальчик-алтарник «Санта-Лючию» на японском языке пел... Помните?

— Как забыть!

— Вот помянули мы тогда протоиерея Полухина, все разговорились, застрекотали. У иных уже скорбь с лица скочевала. И подошла ко мне его бывшая послушница: «Ну, ладно, — говорит, — ваша жена просто «сдвинулась» на этом Христе. Но вы-то, хотя бы, человек адекватный?». «А что такое «адекватный»? — спрашиваю и делаю невинные глаза. — Это вы... никак, про это... про фараонов, — говорю, — египетских, что ли?». Она отшатнулась, сдвинула бровки к переносице и стала эти мои бараны глаза пробовать алмазным буром, а очи — черные. Я бы даже сказал: страстные! Не пробурила. «Забавно, — говорит. — Вы что, прикидываетесь князем Мышкиным, да?». «Нет, я не князь, — отвечаю. И заключаю вне ее логики: — Я от древнего русского боярского рода!..». Она сочла, что имеет дело по-ихнему — с сумасшедшим, а по-нашему — с юродивым. Сделала бровки вразлет и отошла, но пару раз холодно оглянулась. Так какое же из меня, батюшка, духовное лицо с таким желчным норовом?

Снова батюшка смеялся. А я и рад был повеселить хорошего человека.

## 2

Иногда глаза батюшки Глеба не казались мне человеческими. Впечатлительность ли моя тому причиной, но смотрела на меня из их синевы сама вечность. Я догадывался, что он пострадал во время хрущевских гонений на церковь, однажды спросил — глаза эти захмарились. Он покряхтел, помолчал и ничего не ответил. Позже он привязался ко мне, как, впрочем, и я к нему. Пьем чай на его терраске. Дышим майским цветом черемухи. Он, батюшка, с легкой слезою изливает мне свою добрую память:

— Когда мой родитель, царствие ему небесное, сделался священником, я, Петенька, всегда прислуживал ему в церкви. Он сам был — высокий, брови — крыльцами такими! Я — маленький, в белом стихарике! Умилительно было прихожанам видеть нас вместе-то, да-а! То я кадило раздуваю, то со свечечками церковными играю, храм из них строю! А уж как просфору любил запить святою водицей... Капельюшечки, веришь, не пролью